

18+

Илья Коган

Илюшино детство

Две повести

Илья Григорьевич Коган

Илюшино детство. Две повести

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65403658

ISBN 9785005383945

Аннотация

...Тяжелые послевоенные годы. Голод, нищета, не жизнь – выживание. Но дети остаются детьми, они играют, учатся, хулиганят, влюбляются. Эта книга о том, как мы, дети маленького подмосковного города не выживали, а жили полной жизнью, плакали, смеялись, учились доброте, дружбе, человечности, и выросли, сохранив даже в старости счастливую память о детстве.

Содержание

Илюшино детство	5
Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	20
Глава четвёртая	24
Глава пятая	30
Глава шестая	36
Глава седьмая	44
Глава восьмая	52
Глава девятая	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Илюшино детство

Две повести

Илья Григорьевич Коган

Редактор Елена Ильинична Полякова

Корректор Анна Николаевна Николаева

© Илья Григорьевич Коган, 2021

ISBN 978-5-0053-8394-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Илюшино детство

Я уже говорил, что прошлое – это остров, окруженный океаном времени. А память – это пароход, который, шлепая колесами по вязкой воде, возвращает меня в места прежних радостей и печалей. Воздух туманен, и сильный гудок собирает на том берегу знакомые силуэты. О, все они тут: и бабушка Злата, и тетка Рейзл, и дядя Захар, и тетя Соня! Востряковские старожилы!.. Что ты плачешь мама! Я же еще не насовсем!

Глава первая

Все должно начаться со стука соседей в стенку:

– Соседи! Вставайте! Война кончилась!

Стучала тетя Мотя, грузная пожилая женщина. У ее зятя был мотоцикл с коляской. Они переехали сюда еще до войны, сбежали из деревни. Мы их так и звали: «Колхозники», хотя дочь Таня давно работала в магазине, дослужилась до директора.

Тетя Мотя была такой же старой, как моя бабка Злата. Только вдвое толще и гораздо крикливее. В коляске мотоцикла она не помещалась. Зять-«колхозник» все сулил достать для нее грузовик. Но особенно ездить в нашем Кунцеве было некуда. Разве что на базар...

В то утро мы выскочили во двор, как оглашенные. Все соседи уже высыпали на улицу. Рано цвела сирень, и среди белых кустов прыгали и скакали все: и Чугуновы, и Жолнины, и вся наша «мешпуха». Никто не кричал «Победа!». Все орали: «Война кончилась!».

Что война вот-вот кончится, чувствовали все. Особенно после взятия Берлина. И все равно бабка Злата не хотела верить.

– Вус? Вер? – допытывалась она. – Чи шо – конец мелху-

ме?

– Бабушка! – докрикивалась до глуховатой бабки сестра Жанна. – Война кончилась!

Вот так и везде. Половина соседей прыгала и скакала. А другая половина – плакала горько и безнадежно. И никто и не пробовал их утешить. У Кузнецовых дядя Вася еще на фронте, а на старшего сына давным-давно пришла «похоронка». У стариков Обливанцевых оба сына погибли, а дочь Тоня воюет незнамо где. Моя тетка Фрима рыдала у включенного репродуктора.

Он вещал о «безоговорочной капитуляции» – это слово я с того дня и запомнил. А тетка плакала по своему мужу Борису, убитому в сорок третьем.

Тетка Рейзл, натягивая платье на костлявые плечи, вспоминала пропавшего на лесозаготовках моего сумасшедшего дядю Сюню. Хоть и бил ее сапогом из-за денег – но ведь брат же! Хоть и ругалась с ним почему зря – но ведь брат же!

Мама тоже плакала. Она горевала по сестре и ее детям, погибшим в Ленинграде, и по папе, с которым война разлучила нас.

Это было какое-то особенное утро. Вся улица смеялась и плакала. Почти в каждом доме кто-то был на войне, а многие уже знали, что их близкие никогда не вернуться. Не вернется старший сын Кузнецовых. Не вернуться оба сына старушки Обливанцевой, не вернется сын тети Ханны Крако-

вой. Не вернется дядя Боря, муж моей тетки Фримы и отец двоюродных Жанны и Веры. Не вернется и мой сумасшедший дядька Сюня, сгинувший где-то на лесоповале. Но, наверное, вернется папа, мобилизованный на военный склад в Омске.

А черная тарелка на стене раз за разом повторяла слова о безоговорочной капитуляции Германии и о вечной славе героям... Тетка Фрима, ненавидевшая радио после гибели мужа, в это утро молча глотала слезы под ликующий голос Левитана...

Плакали многие на нашей улице. Почти в каждом доме...

Мама быстро-быстро оделась и стала собираться в Москву. Я занял, что хочу вместе с ней, но она строго велела мне не пропускать школу, Я, мол, и так отстал от ребят на два месяца. Нельзя мне пропускать уроки. Тетка Рейзл сурово смотрела на мамины сборы, но молчала. Маму она считала легкомысленной – не могла простить ей, что она бросила мужа одного в Омске. Сама-то она замужем не была, но знала, как должна вести себя верная жена. Она слышать ничего не хотела про то, как убивалась мама в Сибири, как рвалась она в свое любимое Кунцево. И как она понимала, что если не вернется во время, то навсегда потеряет нашу квартиру. Там и так уже жили какие-то чужие люди...

Самое обидное было то, что уроков в школе не было. От-

менили по случаю окончания войны. Мы поиграли во дворе в чехарду, а потом разбрелись по домам. Учительница Анастасия Георгиевна велела нам не хулиганить в такой день. Да я и не собирался. Да и другие ребята тоже. Даже Витьку Дубовика сегодня не били.

Делать было нечего. И я поплелся в наш двор.

Во дворе ребятня играла в «штандер». Меня тут же заставили водить. Надо было подкинуть мяч как можно выше, поймать его и крикнуть разбегающимся ребятам «Штандер!». Они застывали... замирали как вкопанные. Я кидал мяч в ближайшего. И если попадал, наступала его очередь водить... В этот день мне везло. Я тут же выбил сестренку Жанку. И сам стал разбегаться в разные стороны... вместе с остальными. А потом старался замереть боком к ней, чтобы в меня было труднее попасть.

Сестра Жанна поймала мяч и швырнула в меня. Только промахнулась. Мяч шлепнулся прямо в оконное стекло. Не сильно – откуда у сестры силенка. Но ребятня шустро разбежалась по двору.

– Щас сам Паршин выйдет! Атас, ребята!

А я так и застыл с разинутым ртом. Это же наш дом! Это в наше окошко Жанка попала!

Дом, и правда, был наш. Тот самый, из которого мы в Сибирь уехали. Только пока нас не было, в нем поселился чужой. Плотник Паршин, которого вся окрестная ребятня жут-

ко боялась. Да и взрослые не хотели иметь с ним дела. Маму он испугал раз и навсегда.

– Ишь чего захотели! – огрызнулся он, когда мама заикнулась, что неплохо бы ему освободить нашу квартиру.

– Была ваша, да сплыла! Нечего было сматываться!

– Нам же жить негде, – робко пожаловалась мама.

– Ну и езжайте обратно в вашу Сибирь! Там вам самое место! А к дому и близко не подходите! А то вмиг прихлопну!.. В лепешку прихлопну!

– И прихлопнет, – сказала мама, сама не своя от страха. И с тех пор и сама старалась не попадаться плотнику на глаза и мне велела держаться от нашего дома подальше.

Ребята, видно, хорошо его знали. Поэтому шустро разбежались, но не очень далеко. Один маленький Буля зацепился за что-то и упал прямо на дорожку. Заорал и принялся колотить ногами по земле. «Булей» Володьку Иванова звали за то, что он, чуть что, бежал плакаться бабке и пищал жалостно: «Буля!.. Буля!». «Бабуля» он не выговаривал.

Сестра Жанна воспользовалась случаем и попала... залепила таки в Булю мячом. Он заорал еще пуще. И все разошлись – не стали ждать пока Буля утихомирится. Все равно какой из него «водида»! Он и мяч то подкинуть, как следует, не сумеет...

В середине дня взрослые с лопатами собрались в углу двора. Стали зарывать «щель» – убежище, в котором все пря-

тались во время бомбежек. Она давно стояла заколоченной, но теперь придумали совсем засыпать ее – чтобы и следа не осталось. Все! Война ведь кончилась!

Мама вернулась через два дня. И стала рассказывать, какой праздник был в Москве, как все радовались окончанию войны. Лучше бы не говорила – обидно было слушать о том, что я пропустил. Брата Мишку-то она с собой брала, ему до школы было еще далеко. А он ведь все равно ничего не понимал. Я потом только в кино видел, что в тот день творилось в Москве. Как люди пели и плясали на радостях, как обнимались и плакали, как подбрасывали в воздух военных. Эх, какой праздник я пропустил!

Мама по секрету рассказала, что ходила к юристу, узнавала, как нам получить обратно нашу квартиру. Ей сказали, что надо подавать в суд и что она может выиграть. Она много еще говорила, но я понял только то, что наше счастье в том, что мамина сестра, тетя Соня, все эти годы аккуратно платила за нашу квартиру. А то бы не видать нам ее, как своих ушей. А еще я понял из маминого шепота, что надо кому следует «дать». То есть платить надо. А денег у мамы нет.

Только зря она это говорила. У тетки Фримы денег не было. А тетка Рейзл, даже если у нее есть, не даст. Скорее удавится. Она и так все время твердила, что живет на копейки, которые ей платят за работу кассиром в магазине. Так я ей

и поверил.

А у бабы Златы из всех капиталов была только серебряная монета невесть какого затертого года да желтый клык, который у нее выпал еще до войны...

Вот так вот мы и жили. Я у бабушки Златы с тетками и сестренками. А мама с Мишей почти все время у тети Со-ни и ее мужа, дяди Захара. Карточек у нас не было, ведь мы не были нигде прописаны. Мама все жаловалась, что у нас нет какой-то прописки, а без нее карточек не дают.

На выходные она брала и меня с собой. Мы шли на стан-цию «Кунцево», где ждали поезда из Усова. Его притаски-вал пыхтящий паровоз. Нас с Мишкой пускали в детский вагон. Все стены там были залеплены картинками про трех богатырей и медведей в лесу. И народа там было меньше, чем в остальных вагонах. Мишка тут же забирался с ногами на скамейку... и норовил высунуть голову в опущенное ок-но. Мама всю дорогу стаскивала его на пол, а он орал дур-ным голосом.

Поезд приходил на Белорусский вокзал. И мы тащились пешком до фабрики «Дукат». Рядом с ней в старых-преста-рых домах на Табачном проезде жили наши тетки. Мамины сестры.

К тете Ханне надо было пробираться по темному низкому коридору с земляным полом. Комната была какой-то кривой, а посередине стоял столб, на котором держался потолок. Ок-но до половины было засыпано мелким шлаком, который вы-

брасывали фабричные трубы. Я помнил, что до войны окно еще открывалось, и мы играли в прятки, выскакивая в него, и обегали дом, возвращаясь в дверь. Теперь же шлак почти до середины закрывал окно. И солнца в комнате никогда не было.

Зато у входа стояла керосинка, и тетя Ханна, когда была дома, готовила на ней всякую вкусноту. Спали все на большой кровати и на стареньком диване: сама тетя Ханна, сестры Фаня и Боня, и брат Эля. Они были старше меня. Боня и Эля уже работали на заводе, а старшая Фаня служила машинисткой в самом министерстве иностранных дел.

Сама тетя Ханна продавала чай в знаменитом магазине на улице Кирова. Это было место, где всегда приятно пахло кофе и где москвичи любили покупать настоящую заварку.

Иногда я по нескольку дней жил у другой маминой сестры, тети Сони. Их комната была в этом же доме, но на втором этаже. Хозяева ее уехали в эвакуацию, да так и не вернулись в Москву. Комната была просторной и светлой. Не сравнить с той, где они жили до войны. Это было в подвале того же дома. Кто-то догадался разгородить подвал фанерными стенами. Получились клетушки без окон, в каждой помещалась кровать и крошечный столик. Сидеть приходилось на кровати, а стоило прислониться к стене, как все перегородки в подвале принимались ходуном ходить.

Дядя Захар был знаменитым закройщиком. Особенным спросом пользовались сшитые им фуражки. Но обычно дя-

дя кроил одежду, а тетя Соня шила. У нее была швейная машинка «Зингер». Мама все облизывалась на нее. «Была бы у меня такая машинка, – говорила она, – я бы научилась шить не хуже Сони и зарабатывала на хлеб».

Ну, до машинки было еще далеко. Пока что нам просто негде было жить. Нельзя же было все время сидеть на шее у родни. И мама стала искать ходы-выходы.

Кто-то надоумил ее обратиться к хорошему адвокату. Он, мол, подаст на плотника Паршина в суд, и его могут заставить съехать из нашей квартиры. У нас была крепкая зацепка: тетя Соня всю войну платила за нас квартплату. И у нее хранились все квитанции. Значит, квартира не переставала быть нашей.

Только на адвоката нужны были деньги, которых у мамы не было. У папиной родни просить и не стоило: не дадут... Но у мамы было четыре сестры и дядя Захар, который даже во время войны зарабатывал неплохо. Вот на них-то мама и надеялась.

Все решилось в самый Новый год.

Глава вторая

Все решилось в самый Новый год.

Я давно ждал его. Это должен был быть первый Новый год без войны. Настроение у всех было праздничное – война ведь кончилась. И все надеялись, что жить станет легче. Помню, как мимо нашей улицы шли эшелоны с возвращающимися домой красноармейцами. Теперь их называли солдатами. Мы бегали к железной дороге встречать их. Махали им руками. А солдаты, свесив ноги из дверей теплушек, тоже радостно кричали нам что-то веселое. А иногда бросали из вагонов немецкие монетки или яркие цветные открытки с немецкими цветочками и Дедами Морозами. На открытках были немецкие надписи. У некоторых ребят таких открыток было уже завались.

Встречать Новый год мама привезла нас к тете Соне. Меня заставили забраться с ногами поглубже на диван – не мешать взрослым накрывать на стол. А на столе чего только не было: и красная, и черная икра, и всякие ветчины, и рубленая селедка, и фаршированная рыба, и куриная шейка с вкусной начинкой. И куча красивых бутылок. Я же говорю, что дядя Захар хорошо зарабатывал, и у него были деньги на покупки в коммерческом магазине, где было много всего, только все очень дорого.

Я ждал, когда же все соберутся и, наконец-то, сядут

за стол. Слюнки так и текли. Я давно не видел такого богатства на столе и запомнил это на всю жизнь.

– Мам, дай кусочек! – ныл я.

– Отстань! – отвечала она. – Вот все соберутся, будешь праздновать вместе со всеми!

Она принарядилась и губы накрашила. У тети Сони гостил наш киевский родственник дядя Борис Шехтман. Молодой красивый командир с золотыми погонами. И весь в медалях. Вот мама и причепурилась из-за него. Я так думаю.

– Дайте шейгецу абиселе чего-нибудь! – пожалел меня дядя Захар. И положил большой кусок белой рыбки на тоненький ломтик белого хлеба. А потом налил мне пива. Целых полстакана.

Я быстренько умял бутерброд и выпил пиво. Я раньше никогда его не пробовал, и мне не очень-то показалось. Даже голова закружилась. Я прилег на диван, мне стало легко и весело. Я вспомнил, как мы бегали к железной дороге встречать едущих с войны красноармейцев... Колеса стучали, паровоз гудел, солдаты что-то весело пели. Ребята, война кончилась! Радовались, что остались живы, наверное. И что скоро будут дома...

Проснулся я, когда уже было светло. Гости, видно, давно разошлись. Стол был завален грязными тарелками. На блюдах плавали в жиру общипанные куски мяса и рыбы. И тут я понял, что проспал Новый год. Как же я плакал!

– Мамочка! – стонал я. – Почему же ты меня не разбудила!

– Ты так сладко спал, сыночек! – успокаивала меня мама.

– Я же так хотел!.. – не мог успокоиться я. – Все пропустил!.. И Сталина не слушал!

– Сталин не выступал... С Новым голом поздравлял Левитан... Да ладно! – останавливала мои стенания мама. – В твоей жизни еще столько Новых годов будет! Еще напразднуешься!

Когда я немного успокоился, она поднесла палец к губам.

– Зато знаешь что?.. Дядя Захар дает деньги на адвоката! Так что скоро мы вернемся домой!

Делать было нечего. После завтрака меня отпустили гулять. Что ж, мне уже было одиннадцать с половиной лет, и мама помнила, что в Омске я целые дни проводил один. И я побрел по новогодней Москве. Площадь Маяковского была совсем рядом. Через нее веселые и нарядные люди неторопливо прогуливались до улицы Горького. Было совсем не холодно. И я шел вперевалочку, посматривая по сторонам. Многие поздравляли встречных с Новым годом, желали нового счастья и здоровья.

А, может быть, мы пошли втроем: я, мама и киевский дядя Борис. Он был в красивой шинели с золотыми погонами, и все встречные поздравляли его с Новым годом и желали нового счастья и здоровья. А дядя Борис отдавал всем честь. Мне не очень нравилось, как мама прямо висла на его руке и все время чему-то смеялась. Что он не скажет, то ей смешно. Но ведь был праздник, и все радовались.

Мы прошли через площадь Маяковского и по улице Горького догуляли до самого Пушкина. А здесь было не протолкнуться. Народ, разинув рты, удивлялся громадному «живому» коту, который ходил на цепи вокруг горящей елки и вертел светящимися глазами. Страшноватый был кот. Но людям нравился. Все узнавали: «А! Этот тот самый „кот ученый“, который у Лукоморья!».

Мы долго любовались на кота. Было не холодно. Шел легкий снег, но он тут же таял. Было мокро и скользко. Машин было совсем мало, и они ехали очень осторожно. Мы начали переходить улицу, как вдруг дядя Боря схватил нас с мамой за руки и оттащил на тротуар. И тут же мимо нас в ревом промчалась небольшая машинка. Она неслась так быстро, что я не успел разглядеть сидящих в ней пассажиров. Только грязные ледышки летели из-под колес – прямо на одежду шарахнувшихся людей. Машина пролетела в сторону площади Маяковского, и у меня внутри что-то похолодало. Нехорошее предчувствие. Я не успел прогнать его, как в той стороне, куда умчалась машина, раздался грохот, и в небо поднялась стая черных птиц.

– Разбились!.. – сказал дядя Боря.

– Вей из мир! – согласилась с ним мама.

– Давайте посмотрим! – стал тянуть их я.

Но мама отказалась. У нее испортилось настроение, и она захотела домой. Так я и не увидел происшествие. Только потом узнал, что машина столкнулась с шедшим навстречу

троллейбусом и несколько раз перевернулась. А двоюродная сестра Фаня, которая служила в министерстве иностранных дел, сказала, что в машине были американцы из посольства, и что все они погибли

Глава третья

У тети Сони мне было хорошо. По утрам она кормила меня манной кашей, только не такой, как у мамы, – всегда с комками, – а ровной и сладкой. И каждый раз клала в тарелку кусок сливочного масла – такой большой, какого у бабы Златы мне бы никогда не дали. Сколько буду жить, не забуду этого масла. И то, как она на всякий случай загораживала тарелку спиной – чтобы дядя Захар не видел. Вообще-то он был веселый и шумный. Помню, как во время застолий он приставлял нож острием к горлышку бутылки и дудел в нее. Получалось, словно басовитая труба гудела песню. Правда, любил поворчать, но не зло. А мне было одиннадцать лет, я рос и всегда хотел есть.

Дядя Захар был закройщиком, одним из лучших в Москве. Он кроил одежду для жен больших начальников. Они приходили на примерку, оглушая нас запахом духов и пота. Дядя загонял их за китайскую ширму, откуда слышались их смешки и повизгивание.

– Мадам, не шебарштитеесь! – уговонял их дядя. – Скажите лучше, где вы хотите иметь талию!

Или:

– Мадам, ваши цицкес не дают нам видеть живот!

За ширмой раздавались таинственные слова: «файде-

шин», «крепжоржет», «панбархат».

Иногда дамы приходили в час детских радиопередач, которые дядя Захар не пропускал. Тогда он говорил:

– Ша! Оставьте ваши майсенс! Не трусите словами!

Он делал радио громче и иногда пугал заказчиц жалостным вскриком:

– Ма-альчик! До-обрый ма-альчик!

А это по радио передавали постановку «Звездного мальчика».

Дядя Захар даже хлюпал носом, переживая злключения героев.

– Нет, вы слышали? Этот шейгец не узнает родного отца!

А бывало, он вдруг рычал:

– Курри-бурри! Кости мои! Жилы мои!..

Это злобный торговец измывался над бедным Давидом Копперфильдом.

И тут же дядя кричал пронзительно и злобно:

– Дженни! Ослы!

Испуганные дамы выскакивали из-за ширмы в одних красных трико до колен.

После их ухода дядя застилал стол одеялом, раскладывал ткань, а сверху прозрачную бумагу и начинал колдовать над ней с куском мела в руке и сантиметром на шее.

– Нарисуем промфинплан! – говорил он загадочно.

А потом обращался ко мне, удобно устроившемуся на диване:

– Ну!..

Я уже знал: он ждет продолжения «Острова сокровищ» – книги, которую я только что прочел и начало которой успел пересказать ему.

– Так вот... – начинал я. – Этого самого Билли Бонса хватил удар. Он получил «черную метку» и с перепугу помер...

– Как, говоришь, его звали? – переспрашивал дядя.

– Билли Бонс, Я ж тебе говорил! Пират!

– Ну да... Был у нас такой Рабинович. Тот еще бандит и босяк. Взял кассу в Гайсине. Да пожадничал, сейф захотел унести. А тот с секретом был. Так рвануло, что у всего города удар был...

Дядя Захар приложил сантиметр к бумаге и стал закалывать ее булавками.

– Ну-у! – протянул он, не разжимая губ.

– Мальчик открыл сундук этого Билли Бонса. А там золотые монеты, да еще карта острова. Да не простого, а где зарыты сокровища.

– Тикать надо было! – перебил меня дядя.

– Они и хотели. Но тут вдруг появились пираты. Самые настоящие. Мальчик с мамой еле успели спрятаться под мостом. А пираты бродили сверху, искали карту и все кричали: «Ищите! Ищите! Они здесь!»...

– Да-а... – вздохнул дядя Захар. – Так оно и бывало... Мы прятались во ржи, а бандиты Балахновича скакали вокруг. «Запаливай!» кричали...

– Кто не спрятался, я не виноват! – подал вдруг голос двоюродный брат Яша. Почему-то эта кричалка из нашей игры в «прятки» расстроила тетю Соню.

– Смеешься! – захлопала вдруг она.

– Я ему посмеюсь! – пригрозил дядя Захар.

Не любил он Яшку.

– Ну и что с вами было? – спросил я.

– Порубили бы нас, да конь атамана попал в щель на мосту и захромал. «Плохая примета!» – решил этот бандит и приказал своим убираться из местечка. А раввин сказал, что это его молитва помогла...

– А кто не спрятался?.. – опять встрял Яшка и почему-то посмотрел на тетю Соню.

– Я сейчас достану этого байстрюка! – снова вскипятился дядя Захар.

Глава четвёртая

В другой раз я пересказывал дяде «Таинственный остров».

– А тут вдруг налетел ветер и понес их шар черт те знает куда. А потом шар стал падать... Они давай цепляться за что попало... Один даже сорвался... И вдруг они увидели остров... Так и спаслись... Но остров-то был непростой. Но они этого еще не знали... А в нем была пещера...

– Це-це-це! – зацокал языком дядя. – Чего только не бывает! Я из своих Копоткевичей сбежал в Гайсин. Думал, там спокойнее. А там самый погром! Куда податься?.. На станции вся ломятся в вагоны. Говорят, последний поезд... Уцепился как-то на ступеньке. Повис над землей. А эти уже скачут рядом. И смеются...

– Ай, Захар! – вмешалась тетя Соня. – Не морочь шейгецу а-копф!

Дядя Захар только вздохнул:

– А, знаешь, я никогда не видел моря. И на воздушном шаре не летал...

– Только этого тебе не хватало! – проворчала тетя Соня. Она вытирала пыль и, как всегда, перевернула лицом вниз фотографию строгой женщины, стоявшую на этажерке.

– Сона! – строго сказал дядя Захар. Он когда сердился, всегда называл тетю Соной. И тетка нехотя вернула портрет

на место. Яшка говорил мне, что это фотография первой жены дяди Захара. Она умерла, когда они жили в Киеве. Яшка все приставал к тетке:

– Теть Сонь! А правда, что у дяди в Киеве дочка осталась?

Тетя Соня только сердито поджимала губы. Не любила она эти разговоры.

Я как-то пристал к маме:

– А почему тетя Соня не любит, когда о жене дяди Захара говорят?

– Кому такие разговоры приятны... Ревнует она. Вырастешь, поймешь...

– А где она теперь?

– Умерла. Сначала заболела дочка. Дифтеритом. Мать от нее заразилась и умерла.

– А дочка?

– Дочка где-то в Киеве живет. У нее уже свои дети есть. Только мы о них ничего не знаем...

А пришлось узнать. В Киеве жил мамин старший брат. От него и пришли вести, что дочь дяди Захара болеет и живет в полной нищете. Тетя Соня снова поджала губы и стала рыться в шкафу. Кидала на стол какие-то кофты, свитера, старые шляпы. Другие сестры привозили разную одежду. Тетя Рая отдала совсем новое платье моей двоюродной сестры Эммы. Его ей дядя Захар сшил. Теперь они решили, что

в Киеве оно нужнее. Тетя Геня даже какие-то деньги дала. И тетя Ханна тоже.

А потом деньги пропали. Дядя Захар сразу подумал на Яшку.

– В колонию его надо! Он же гановер! Вор!

Вот тогда-то Яшка и выпрыгнул в окно. А потом деньги нашлись. Тетя Соня куда-то их сунула да забыла.

А потом пришли за дядей Захаром. Велели взять инструменты и ехать с ними. Оказалось, что сам Клим Ворошилов захотел заказать у него фуражку.

У них жил мой двоюродный брат Яша. Он был сирота. Его мама, тетя Рахиль, и двое ее детей умерли в Ленинграде от голода. А Яша выжил. Его отдали в детдом, но он сбежал. Его поймали, но он снова сбежал. Тетя Соня пожалела сына своей погибшей сестры и взяла его к себе. Яша оказался еще тем подарочком. Он не признавал ничьей власти. Учиться не хотел, работать ему еще было рано. Весь он был какой-то дерганый, видно от блокады так и не отошел. Дружил с местной шпаной, таскался с ней по Табачному проезду и по Тишинскому рынку. Шпана была не простая. В домах моих теток жили ассирийцы. Черноволосые, шумные. Их старушки с утра до вечера сидели на каменных тумбах и вытягивали нитки из мотков шерсти. Потом из этих ниток они плели шнурки. Из подвалов несло гуталином, ассирийские женщины варили его из всякого вонючего барахла.

Говорили даже что-то о собаках. А ассирийские мужчины с утра пораньше расходились по центральным улицам и усаживались в свои будки. «Чистим-блистим!» – кричали они на всю улицу Горького. И стучали щетками по низеньким скамеечкам для обуви. У них можно было купить и шнурки, и гуталин, и стельки. Москва была грязным городом, и работы у них хватало.

Яша дружил с ассирийским мальчиком по имени Оник. Они целыми днями шастали где-то в компании таких же пацанов. Или играли в карты в подвале у Оника. Наверное, Яшу там и кормили. Потому что где-то же он должен был есть. А на тети Сонины крики в обед: «Яша! Яша!» он не откликался. А как-то раз явился домой в воротнике из чёрно-бурой лисицы. «В карты выиграл!» нахально сказал он. «Гановер!» – стукнул кулаком по столу дядя Захар. В смысле, «Вор!». Перепуганная тетя Соня загородила Яшку своим довольно таки щуплым телом. Но дядя Захар не останавливался. И тогда Яшка сиганул в открытое окно. Прямо со второго этажа.

– Убился! – закричала тетя Соня. Я выглянул в окно: Яшка отряхивал коленки от дукатовского шлака.

– Живой... – успокоил я тетю. А дяде Захару сказал:

– Так вы «Знаменитых капитанов пропустите»!

И, правда, по радио уже начиналась любимая дядина постановка – «Клуб знаменитых капитанов», и приятный голос пел:

*В шорохе мышинном,
В скрипе половиц
Медленно и чинно
Сходим со страниц...*

Я делал радио громче, и дядя Захар успокаивался под звуки знакомой песенки:

*Шелестят кафтаны,
Чей-то меч звенит,
Все мы капитаны,
Каждый знаменит.*

После этого Яша стал искать своего отца. Тот пропал без вести на фронте. Яша не хотел верить, что он погиб. Он писал всем мужчинам, носившим фамилию Курочкин, и даже одному знаменитому генералу.

А в перерывах Яшка все приставал к тете Соне.

– Ты зачем не спряталась?

Тетя Соня принималась шмыгать носом, а дядя Захар швырял в племянника чем попало.

– Добрая она тетка, – говорил Яшка мне. – Только нудная. Раз и на всю жизнь испуганная.

И правда. В то лето в Москве было солнечное затмение. Все запаслись закопченными стекляшками и высыпали на улицу. Там становилось темнее и темнее – ночь среди дня.

А я смотрю, моя тетя прячется под домом. Согнулась вся, а мама ее за плечи обнимает, успокаивает. И на меня руками машет – «Уходи, мол!».

– Мам, чего она так? – спросил я потом.

– Не дай бог никому пережить то, что на долю бедной сестре выпало!

– Да? А что?

– Только держи язык за зубами!.. Бандиты в местечко ворвались. Мы все во ржи спрятались, а Соня не успела...

– И что?

– Что «что»!.. Что бандиты с девчонками делали!

Вот те раз! Бедная тетя! Я так ясно представил, как она моет полы за бандитами, стирает их грязное белье и целыми днями мешает борщи в кипящих котлах. Жуть!..

Глава пятая

Но, видно, ассирийская шпана была не совсем отпетой, потому что в тюрьму Яша так и не попал, хотя дядя Захар все время твердил тому, что «тюрьма по нему плачет». Наверное, братца спасло увлечение велосипедом. Он все время ездил на какие-то сборы и даже стал мастером спорта. И выучился на столяра-краснодеревщика. Его умение пользовалось спросом, он чинил старинную мебель в домах знаменитых москвичей. Чаще всего Яшка хвастался, что стал своим человеком у какого-то Ширинского. «Эх ты! – укорял он меня. – Не знаешь, что есть на свете Квартет имени Бетховена!». Но все это будет потом.

А пока я сидел один и ждал, когда мама вернется и накормит меня. Она с киевским дядей Борей ушла в «оперу» – слушать любимого мамино Лемешева. А тетя Соня уехала к заказчикам, которым она что-то шила. Я был один, и мне не давала покоя кобура, которую дядя Борис перед уходом повесил на китайскую ширму. Я давно уже определил, что кобура не пустая. Там был револьвер. Ого-го! Самый настоящий! Я только в кино видел такие. Дядя Борис показывал мне его. Но в руки не дал – тетя Соня не разрешила... А так хотелось хотя бы подержать. «Никто же не увидит! – думал я. Я даже из кобуры вынимать не буду!».

Думать-то я думал, а руки уже тянулись к кобуре. Она бы-

ла тяжелой. Значит, не пустая. Сердце замирало, но я открыл кобуру и осторожно потянул выглядывающую оттуда рукоятку. Она удобно улеглась в сжатой ладони. Чуть великовата для нее. И револьвер тянул ее вниз. Тяжеловат. Но приятно тяжеловат. Наверное, от обоймы. А как она вынимается? Я нашел кнопку, нажала на нее, и обойма выскочила в подставленную ладонь. Сверху тускло мерцала пуля. Эх, выстрелить бы разок!.. Я задвинул обойму обратно, теперь надо дослать пулю в патронник. Это-то я знал – сколько раз в кино видел.

Я изо всех сил оттянул затвор назад. Вместе с ним отошел и курок. Только вот беда – обратно затвор и курок возвращаться не хотели. Что-то им мешало. Ага, предохранитель! Надо как-то убрать его... Голый ствол некрасиво и опасно торчал из затвора. А что будет, если я опущу предохранитель?.. Только он никак не поддавался.

И в эту минуту в комнату вошла тетя Соня. Она тихо ахнула и с испугу присела на пол.

– Положи! – закричала она не своим голосом. Как будто выстрелила. И я с испугу уронил пистолет на тахту.

– Я неча... нечаянно... – еле выговорил я. – Я сейчас убе-ру на место...

– Не трогай! – Тетя Соня достала полотенце, на цыпочках подкралась к пистолету, накрыла его – будто страшного зверя поймала. И отнесла сверток за форточку. Положила на двойную оконную раму, не побоялась развернуть револь-

вер стволом наружу – прямо на соседний дом

– Лишь бы Захар раньше Бориса не пришел! – с надеждой прошептала она. Потом намочила второе полотенце холодной водой и обмотала им лоб. Так она делала всякий раз, как у нее болела голова.

А, может быть, револьвер упал на тахту и выстрелил. Полетела на пол старинная статуэтка: голая тетка стоит возле дерева, а из дупла выглядывает какой-то мужик. Тетя Соня называла ее «ампиром» и говорила, что она жутко старинная и дорогая. Антик грохнулся на пол, я кинулся поднимать. Смотрю, а голова больше из дупла не торчит. На полу валяется – отдельно от «ампира». Тетя Соня разохалась: «Ай-ай-ай! Что Захар скажет!». А мне-то казалось, что без мужика статуэтка смотрится симпатичнее...

Дядя Борис долго вздыхал и ползал по полу – искал гильзу. Оказывается, на каждый выстрел в мирное время нужно было писать объяснение: в кого стрелял... почему стрелял... Всякую ерунду придумывать.

Гильзу он нашел. А заодно и отстрелянную голову мужика из дупла. Тетя Соня обрадовалась: если аккуратно приклеить, может, дядя Захар и не заметит.

Уж не знаю, из-за этого ли случая, или просто время подошло, киевский дядя стал собираться домой. На следующий день мама пошла его провожать. Меня не взяли – поезд ушел вечером. Мама вернулась грустная и сказала, чтобы я

тоже собирался. Сколько можно сидеть на шее у тети Сони. Что ж, надо было перебираться на шеи других теток. Кунцевских. Но я знал, что на Табачный проезд мы будем возвращаться не один раз.

Ах, Табачный проезд!.. Как живой, стоит перед глазами. Покосившиеся домишки, выросшие в землю до середины первого этажа. Проходные дворы с вечно непросыхающим белым. Каменные тумбы у ворот. Говорят, раньше к ним привязывали лошадей. Когда на лошадях еще ездили. Ассирийские старушки, вечно прядущие свою пряжу. И на всем этом налет серой колючей пыли – табачная фабрика «Дукат» щедро сыплет округу из своих труб.

Две колонки на всю улицу. Воду таскают ведрами. Отопление печное. Из окон торчат ржавые трубы – в каждой комнате своя «буржуйка». Но главная прелесть Табачного проезда – общественный туалет. Круглое здание поставлено на самом подходе к Тишинскому рынку. Никаких кабинок, конечно, нет. Каменная приступочка с дырками-«очками». И очередь ждущих, пока предыдущие сделают свое дело и освободят место. Ночью пробираться приходилось в кромешной тьме через чужой проходной двор. Особой охоты отправляться в такой поход не было. Приходилось терпеть. Или делать, как тетя Соня. Она устраивалась за ширмой, и старалась не очень громко кряхтеть на горшке. Я все равно слышал, а куда было деваться... По утрам к туалету тянулась длинная очередь жильцов с ночными горшками, стыдливо

прикрытыми обрезками газет. Ассирийские старушки равнодушно провожали их глазами, не прерывая кружения своих катушек.

Зато сколько заветных местечек для «перепрятушек-обознатушек» было рассыпано в этих дворах. Сколько углов, из-за которых можно было выскочить неожиданно для противника с криком «Хенде хох!». Правда, иногда за этими углами прятались какие-то подозрительные типы в залатанных гимнастерках. Тогда мы знали: на Тишинке идет облава.

В последние дни дядя Захар приходил поздно – до ночи корпел в своем ателье. Тетя Соня по секрету рассказала маме, что он делает фуражку аж для самого Ворошилова. Вот это да! Портрет маршала Ворошилова висел в бабушкином доме. Маршал сидел за письменным столом и о чем-то важном думал. Он был без фуражки. В следующий раз, думал я, его нарисуют в фуражке дяди Захара.

Как-то раз дядя Захар подозвал меня к себе и стал за чем-то мерить мою голову клеенчатым сантиметром. Тетя Соня, снова по секрету, призналась маме, что от ворошиловской фуражки осталось порядочно материала – как раз на детскую голову. Вот это да! Значит, мы с главным маршалом будем ходить в одинаковых кепках! Я до конца не верил, что это может быть. Но в один прохладный вечер мой дядя развернул небольшой пакет и надвинул на мою голову мечту черного цвета. Тетя Соня сняла с этажерки зеркало, и я увидел страшного красавца, каким меня сделала наряд-

ная обновка. Только уши слегка торчали в разные стороны. Я, правда, думал, что кепка будет «шестиклинкой» – такие тогда носили все знаменитые «блатари» с Табачного проезда. Но дядя Захар такого фасона не признавал.

– Не вздумай трубить, из чего она сделана! – строго-на-строго наказал мне дядя Захар. Мог бы и не говорить. Я и так знал, что этот товар называется «левым». Поэтому я просто молча позволял любоваться моей обновкой и не обращал внимания на просьбы: «Дай поносить!».

А когда мы вернулись к бабушке, я первым делом встал перед портретом товарища Ворошилова и приложил ладонь к новой фуражке. Отдал честь маршалу, с которым я теперь был связан мастерством дяди Захара.

В школу я фуражку не надевал – в раздевалке запросто могли украсть. И во двор в ней не выходил. Только в воскресенье пошел в новом наряде в клуб «Заветы Ильича». Какое там шло кино, теперь и не помню. Помню только, как мне было тепло и уютно в новенькой кепке. И сколько живу, не могу забыть, что едва в зале погас свет, кто-то сдернул мою обновку с головы. Я в ужасе вскочил и просто стал умолять сидевших сзади: «Отдайте кепку! Отдайте!». Но никто не обращал на меня внимания. Я кинулся к задним рядам, Но и там никто даже головы не повернул. Кунцевская шпана плевать на меня хотела. И я вернулся на свое место и, глотая слезы, смотрел обрыдлый фильм и думал: «Что скажет мама! Что мне теперь будет! Как я явлюсь домой!».

Глава шестая

Скандал был. Но не самый большой. То ли мама посочувствовала моему горю, то ли ей в эти дни было не до моих бед. Она должна была получить в домоуправлении копии оплаченных «жировок». Так тогда назывались квитанции, из которых люди узнавали, сколько им надо платить за жилье. А, оказалось, что наших «жировок» у домоуправа нет. Как сказала маме старушка-курьерша, этот инвалид войны устроил из них костер.

«Всех прощаю!» – кричал он на всю улицу Пушкина. «Сильно выпимши был, – объясняла курьерша, шевеля седыми усами. – Хотел, чтобы ни за кем долгов не было».

Я этого домоуправа видел. Был он хромой и одноухий. Другое на войне осталось. Поэтому в домоуправлении всегда стоял крик: людям приходилось кричать, чтобы начальник их услышал. Зато они, не стесняясь, говорили все, что о нем думали.

Старушка-курьерша тоже плохо слышала. Но она носила на шнурке черный рожок, который при разговоре приставляла к уху. «Говорите сюда! – предупреждала она. Рожок был старый, и старушка была старая. Ходила в длинных черных юбках, а на верхней губе у нее у нее росли самые настоящие усы. Звали старушку Никитишной, и жила она вдвоем с сест-

рой в старом-престаром доме, который был упрятан в глубине заросшего сада. Сестра совсем плохо видела и ходила по саду наощупь. Иногда теряла дорогу к дому и тогда кричала: «Надин, ты моей смерти хочешь! Сей же момент vedi меня в дом!». Так мы узнали, что курьершу на самом деле звали Надеждой Никитишной. Говорили, что раньше старушки были сестрами того самого Эшке, в бывшем имении которого мы жили. Они владели чуть ли не половиной Богдановки – так до революции называлась наша улица Горького. Теперь они жили, один бог знает, на что. Но говорили, что в их старом доме сохранилось много дорогих вещей. Время от времени к старушкам навещались хорошо одетые мужчины, после чего они отоваривали по карточкам сахар, если он был, или карамель. А летом они варили варенье из ягод своего сада. На сахарине.

– Да не очень-то он и пьян был, – рассказывала Никитишна об управдоме. – Больше шумел...

– Населил дома эвакуированных своими дружками, А теперь люди возвращаются, а он и домовые книги сжег, и жировки... Иди теперь доказывай, что ты тут с пеленок жил... Хорошо, у кого свои жировки сохранились. Оплаченные...

Мама сказала, что ее сестра всю войну за нашу квартиру платила, и что у нее все квитанции есть...

– Снимите копии – только не у нас! – посоветовала курьерша. – Но я вам ничего не говорила!

Она прижала палец к усатой губе.

– Пишите заявление в суд! Только наймите хорошего адвоката!

Мама так и сделала. Адвокат был знаменитым. По фамилии Брауде. О нем даже в энциклопедии написано. Дядя Захар сшил ему кепку и уплатил за нас. И мы стали ждать суда. Мама с Мишкой все это время жили у тети Сони, а я – у бабушки Златы.

На самом деле это был дом моей тетки Фримы. А бабушкину квартиру во время войны заняла соседка Ханна Кракова. Судиться с ней не стали, в том доме жить было опасно, он все заметнее сползал в овраг.

А у Фримы было целых две комнаты и веранда. В одной спали бабушка и тетка Рейзл. Когда я жил у них, туда же перебиралась и тетка Фрима. Мне стелили на узком диване. А на другом безобразничали мои двоюродные сестренки: Жанна и Вера. Они были неугомонные, до поздней ночи воевали за место у стенки. А днем не давали житья бабушке. Особенно приставучей была старшая – Жанна.

– Баб, а сколько у тебя детей было? – цеплялась она к бабушке.

– Хвейс... Я знаю ... – разводила руками старушка. – Чи девять... Чи десять...

– Что ж, ты не помнишь, сколько умерло?.. сколько выжило?

– Хвейс... Бог дал... Бог взял...

Откуда моя еврейская бабушка взяла эту русскую поговорку? Она была родом из Александрии. Но не той, что в Египте, а той, что в степи под Херсоном.

Она была ровесницей не то Ленина, не то Сталина – теперь уж не помню. О своем детстве ничего не рассказывала. Только – как бегала за десять верст на железную дорогу: царский поезд должен был проехать.

Она имела привычку сидеть у окна веранды, уперев локти в подоконник и положив подбородок на ладони. Наблюдала за проходящей за забором жизнью – как будто кино смотрела.

Когда надо было позвать внучек – моих двоюродных сестер – она кричала: – Жа!.. потом сбивалась, вроде бы забывала имя Жанны, и звала следующую: – Вера!.. Получалось: – Жа... Вера! Так мы и стали звать бабушку Злату «Жа-вера».

И хотя их дом мы звали «у бабушки», хозяйкой в нем была ее старшая дочь Рейзл. Тетя Роза. Замужем она никогда не бывала, хотя в молодости, наверное, была не хуже других. Но уже тогда ее красивое лицо было суровым.

Я вижу ее на семейном портрете, снятом вскоре после моего рождения. Вся мешпуха тогда причепурилась и отправилась на Дорогомиловку, где потом снимали и нас с братом Мишей. Фотограф усадил всех в три ряда и скрылся за черной тряпкой. Так и застыли там на века мои родичи. В центре дед Абрам-Мойше. Когда-то он владел фуражной лав-

кой в херсонской Александрии. Торговал кормами и конской упряжью. В конце НЭПа его хотели раскулачить. Но кто-то предупредил, и дед в один день схватил в охапку свою семью и умотал. Тогда все, кто хотел лучшей доли перебирались в большие города. Абрам-Мойше решил не мелочиться и выбрал Москву. Сначала все ютились в подвале на Цветном бульваре, потом дед купил квартиру в Кунцеве – в доме на самом краю оврага.

Рядом с дедом моя бабушка – Злата Семеновна Таран. Тоже из Александрии. Мать многих детей – она даже не всех помнит, и не льет слезы из-за их ранней смерти. «Бог дал – бог взял» говорит моя бабка-философ.

Ближе всех к родителям старший из выживших сыновей – дядя Илья. Мурловатый тип, скажу я вам. После войны его выпустили из лагеря, где он сидел, кажется, за спекуляцию. Отпустили по болезни. По-моему, у него было белокровие. Но он успел еще поработать и даже купил квартиру в деревянном доме рядом с Москвой-рекой. А до этого они жили у бабушки. Работал он в ларьке на Кунцевском рынке, торговал всякой всячиной. Как-то раз он вдруг расщедрился и подарил мне кирзовые сапоги. Я страшно ими гордился и при всяком удобном случае выставлял их вперед, напоказ, чтобы и другие полюбовались. Пока кто-то из ребят не сказал мне: «Слушай! А чего это они у тебя оба на одну ногу?». Тут-то я понял, с чего это мой дядька расщедрился. И почему я при ходьбе всегда косолаплю... Ну, ничего, одноногие са-

поги помогли мне сыграть медведя в феерическом мюзикле «Ивасик-Телесик», который мы представляли в клубе «Заветы Ильича». Это, правда, совсем другая история...

Ну, так вот. Рядом с дядей Илюшей его верная жена – тетья Клара. Тихая, словно вечно испуганная женщина. Словно кто-то ее раз навсегда испугал. Говорит еле слышно. По любому поводу – «Тс-с... Ша!..». Главное, чтобы муж не узнал. И почему мясо на базаре купила. И где сын Миша фингал получил... И почему от мальчика табаком пахнет. «Тс-с!.. Не дай бог Илюша узнает!». И каждую пару сказанных слов заканчивала словечком «невроко». Что оно значило – до сих пор не знаю. То ли «даст бог», то ли, наоборот, «не дай бог!». То ли «не сглазить!».

«Найти бы моей Голдочке хорошего человека, невроко!..»

Голда – дочь тети Клары. Она – единственная из всей мешпухи, кто имеет какое-то образование. Голда преподает историю. В школе ее зовут Ольгой Ильиничной. Я долго гордился, что моя двоюродная сестра «училка», пока не узнал, что ребята считают ее злой и не любят. А как не быть злой, когда жених погиб на войне и жить приходится с вечно раздраженным отцом, пришибленной жизнью матерью и бузотером-братом.

Единственное, что ее утешало в жизни, – обилие еврейских фамилий в списке лауреатов Сталинской премии. Каждого, чья фамилий заканчивалась на «кий», она причисляла к евреям. Но ведь режиссер Ростовский аид» – спрашивала

она меня после фильма «Доживем до понедельника». «Конечно!» – соглашался я, чтобы не расстраивать ее.

В конце жизни она получила однушку в панельном доме за Кунцевским прудом. Да так в ней и осталась: брат Миша после кремации не стал хоронить урну, а так и держал ее в доме на шкафу.

Кстати, именно Голда принесла из школы брошюру с текстом доклада Хрущева на XX съезде. Она была потрясена – ведь ей предстояло преподавать историю старшеклассникам. «Что я им теперь должна говорить?» – недоумевала она.

Брат Миша был моложе Голды и гораздо симпатичнее. Да что говорить, он был просто красавцем. Всегда смуглое, будто загорелое, лицо, черные волосы, горящие глаза, ленивая походка, словно он вам одолжение делал, когда снисходил до вас. Любимец матери, скрывающей от отца не совсем детские шалости сыночка. Своеволие и капризы, не желание учиться – и все сходило с рук. «Лишь бы отец не узнал, невроко!». К окружающим он относился со снисходительным презрением, советскую власть, само собой, терпеть не мог. Это от него, первого, я услышал классное изречение: «Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется!».

Он презирал все, что было выше его понимания, Или недоступно ему. «Зелен виноград».

Женщины были равнодушны к нему. А он бросал их без всякой жалости. Вся улица Горького знала о горькой до-

ле девушки Тамары. «Поматросил, да бросил!» – говорили соседки. Но эта манера вышла ему боком. Брат одной такой брошенной подружки собрал дружков, и они избили Михаила до полусмерти. Он еле выжил, и в память об этой истории он носил шрамы в уголке рта и над глазом до самого своего конца.

Лицо его с годами не становилось добрее. Я все никак не мог

подобрать слова для обозначения прилипшего к нему выражения. Пока не прочел где-то подходящего названия. «Порочный» – вот что больше всего подходило ему. При всем том он умел быть дружелюбным, веселым и остроумным – после хорошей стопки. А так он никем и не стал. И за это был зол на весь мир.

Глава седьмая

Однако вернусь к портрету. Самой младшей из детей моего деда была Фрима. Вот она стоит рядом с мужем Борисом. Оба молоды и красивы. И нет еще на свете моих двоюродных сестер, Жанны и Веры. И еще впереди война, эвакуация и треугольник «похоронки». В двадцать семь лет она станет вдовой и до самой смерти будет вкалывать на тяжелых и неблагодарных работах, не имея свободной минуты для воспитания дочек. Да и не умея этого.

«Чтоб они гешволн были!» – любимое выражение вечно усталой тетки. До сих пор и не знаю, что это пожелание значит.

С края портрета мои родители. Мама с чопорным видом, в очках с уже толстыми стеклами. И папа, поднимающий меня со своих колен и смущенно улыбающийся. Как гласит семейное предание, в тот самый момент, когда «птичка вылетела», я с перепуга обмочил папины новые брюки. Папа смущен, но не сердится. Любил он своего первенца.

Да, еще на старом семейном портрете, два моих дяди, два папиных брата: Яша и Сюня. Сюня был «абиселе цидрейтер» – ну то есть немного чокнутый.

Мне мама рассказала его историю:

«Что я тебе скажу?.. Знаешь, что такое «а шлехт

мазл»? Плохая судьба!.. Она твоему Сюне на роду была написана... Ну, правда, и папа, и твоя тетя Рейзл говорят, что до шести годочков он рос как все. Но тут его старший брат Миля решил ехать в Америку. Далась ему эта Америка!.. Так, мало того, что тащил жену и детей, он придумал взять с собой малолетнего Израиля, ну нашего Сюню то есть... Пока шли сборы, то да се, Сюня успел обегать весь город и прожужжать уши и ближним и дальним соседям: – Я еду в Америку! Я еду в Америку!.. Ну, старики кивали себе бородами: – Такой маленький, а уже едет в Америку!.. Так надо ж тебе! За неделю до отъезда этот мишигаст полез через дырку в заборе... Что его туда потянуло? Вот он и споткнулся, и напоролся на гвоздь. Пробил себе какую-то железу в горле... Был у них в городе старенький русский доктор. Уж чего он только не делал! Жизнь мальчишке спас, а что касается ума – извините!.. А, главное, когда рана зажила, оказалось, что старший брат давным-давно в Америке. А потом началась война, еще та, первая, и Америки как бы не стало. Она превратилась в отрезанный ломоть, отодвинутый на край стола. И далеко, и не укусишь. Таки какой смысл смотреть в ту сторону?..

Так считали все. Кроме твоего дяди. Паренек по-прежнему носился по местечку и приставал к старикам: – Вы знаете, мой брат Миля скоро выпишет меня в Америку!.. Представляешь, жара... надоедливые мухи. И тут этот цидрейтер, который вместо того, чтобы ходить в хедер, сочиняет

«а пусты майсенс».

– Чепен зи мих, а коп! – отбрехивались старики.

Я-то его узнала, когда все они появились в Москве, в нашем подвале на Цветном бульваре. Здоровый такой бохер и весь в прыщах, и ум, как у семилетнего. Ни читать, ни писать не умел, по-русски знал два слова: «мать» и «перемать». Зато каждому встречному тыкал в лицо: – О, Форд!.. О, Эдисон!.. Америка!..

Где он этого нахватался?.. Хвейс?.. Сначала-то он думал своей дурной головой, что Москва это и есть Америка. Но сырой подвал, куда пробирались по мосткам над лужей этого самого... карточки на хлеб... работа «подай-принеси»... И никакого брата Мили... А что он хотел?.. Потом твой дед Абрам-Мойше купил часть хибары в Кунцева. Там и ты прожил первые четыре года. Помнишь, как ты любил кататься на счетах по полу? Дом-то стоял над оврагом. Иногда дом трещал. Счеты после этого катились шустрее. А Сюня подталкивал тебя для разгона и смеялся. Если, конечно, рядом не было тетки Рейзл.»...

Детская память просыпается рано. Мне было около двух, когда умер дедушка Абрам-Мойше. Помню, как таскали в дом кислородные подушки, как мама вводила меня к соседке, тете Хане Краковой... Между прочим, на похороны дедушки меня не взяли. Нас с Сюней оставили дома, сторожить друг друга. «Только смотри, – предупредила мама, –

не вздумай показывать дяде пальчик!». Дядя был сильно цидрейтер. Но, когда его не трогали, он безобидно думал о чем-то своем... Я крепился, сколько мог. Мы катали по деревянному стулу мышку на ниточке. Дернешь за ниточку, она втягивается внутрь, и мышка катится на тебя. А потом назад... Но сколько можно возиться с неживой железкой. И я заскучал... И стал посматривать на дядю, который, наверное, тоже был не прочь поиграть во что-нибудь другое. Пальчик как-то сам собой выскользнул из моей ладошки. Сначала я сам долго и тщательно рассматривал его. Потом поднял выше. Потом выставил прямо перед дядиным лицом. Что-то в нем дрогнуло... губы растянулись в улыбке. «Хе-хе-хе...» – еще негромко засмеялся Сюня. Мне тоже стало смешно. И вот мы заливались наперегонки. Я даже не сразу заметил, что дядин смех становится похожим на плач. А когда он совсем зарыдал, забился в слезах, мне стало так страшно, так страшно!.. Я быстро-быстро забрался под самую дальнюю кровать и постарался плакать не очень громко... Когда взрослые вернулись, им пришлось долго искать и будить меня... «Так я и знала! – сказала мама. – Ты все-таки показал ему пальчик!»...

Никто не знает, где он окончил свои дни. Забрали его на лесоповал в войну. Не посмотрели, что по нему дурдом плачет. Нашел ли он свою Америку в глухом сибирском лесу под упавшим не туда деревом? Или застрелил его конвойный, когда замороженные ноги отказались нести нашего

шлемазла? Или разыграли его в карты уголовники, которые валили лес рядом с мобилизованными психами?

Нет, самым младшим среди сыновей моего деда был Яша. И, как говорила моя мама, самым похожим на человека. Вот он стоит – молодой и красивый. Может быть, пришедший со свиданья со своей «шиксой», как называли в семье его русскую девушку. Он собирался жениться не ней, пусть родичи и называли ее «шиксой». Мне запомнилось большое родимое пятно на его щеке. А, может, это просто память играет со мной. Он тоже работал в каком-то магазине. Но, кажется мне, он мог бы еще учиться и найти более интересное место в жизни. Но пришла повестка из военкомата. И бравого Яшу забрили в пограничные войска. И надо же так случиться, что служить ему довелось на финской границе. А тут началась война с Финляндией. Какое-то время письма от Яши приходили регулярно. Ему отправляли посылки. Пока последняя из них не вернулась обратно. Я помню, что от бабушки Златы это скрывали. И помню этот фанерный ящичек, на дне которого лежали сухари, тронутые плесенью, и кисет с махоркой. А потом пришло письмо от командира части, в котором рассказывалось, как геройски погиб наш Яша.

Ну вот, я и дошел до тетки Рейзл на семейном портрете. Суровая была тетка. Это видно по ее красивому, но раньше времени отцветшему лицу, на котором застыло выражение постоянного презрения ко всем, кто жил не по ея утвер-

жденным правилам. Не любила она мою маму, считала ее чужой в семье. Книжки, театры, опера – все это не входило в круг признаваемых теткой Рейзл ценностей. Всю жизнь проработала она кассиром, и вереницы прошедших перед ее окошком лиц не внушили ей уважения к человеческому роду. Это свое брезгливое отношение она переносила и на близких. И баба Злата, и тетка Фрима терпеливо переносили ее власть, считали ее главой их женской семьи.

Суровой женщиной была моя тетка Рейзл. Это она вышла во двор, когда плотник Паршин явился к нам с топором выяснять отношения. В то утро мама приехала из Москвы с вестью о том, что назначен день суда по поводу нашей квартиры, и что Паршина вызывают туда.

– Дора! – кричал плотник пьяным голосом. – Выходи! Я те косточки пересчитаю! Ишь чего надумала! Из дома меня выгнать! Да я таких как ты!..

Он стучал топором по ступенькам крыльца, ломился в закрытую на ключ дверь.

– Ратуйте! – потеряв от страха голос, сипела баба Злата. – Погром!

Мама дрожала в углу. Одна тетка Роза храбро отвечала плотнику:

– Гей дрерд! Пошел вон, босяцкая морда! Или кипятку захотел!

Она, и правда, схватила с керосинки кастрюлю с кипятком и велела мне открыть дверь.

– Не смей! – останавливала меня мама, но Роза уже вышла на крыльцо.

– Иди, проспись, пьяный дурень! А то в сей момент глаза ошпарю! Тюрьма по тебе плачет!

– Нечего было из Москвы драпать! – все еще выступал плотник. – А теперь понаехали на готовенькое! Судиться вздумали!..

Но он уже не орал. Тем более, что на крик вышел сосед Жолнин, который недавно застрелил парня, воровавшего яблоки у него в саду.

– Что за хамишущер? – спросил он грозно.

Понаехали на мою голову! – пожаловался Паршин. – Из жилья гонят! Меня, инвалида войны!

– Где ж ты воевал? – ехидно спросила моя тетка.

– На трудовом фронте! Не в Ташкенте же!

– Вот на суде это и скажешь! – посоветовал Жолнин. – А пока дай людям покоя!

Так мы и жили. Мама с Мишей у московских сестер, а я у кунцевской родни. И вот, наконец, настал день суда. Мама, конечно, меня с собой не взяла – «нечего тебе там делать! Учиться надо!». Приехала вечером, счастливая и испуганная. Суд постановил вернуть квартиру нам. «Что теперь Паршин со мной сделает! Не дай бог, узнает, что я адвокату платила! Убьет!».

И, правда, Паршин назавтра пришел под бабушкины окна.

– Дора! – кричал он. – Выходи! Расскажи, сколько ты су-

дье уплатила!

Мама, затаив дыхание, дрожала у закрытой на ключ двери.

– Дора! – не унимался плотник. – Выходи, не трону!.. Просто скажи, сколько судье уплатила!

Все-таки он ушел. Тетка Рейзл сказала, что надо позвать участкового, пусть он выселяет Паршина.

– У тебя же есть решение суда!

Глава восьмая

Но звать участкового не пришлось. Паршин сам съехал.

Говорят, ему дали жилье где-то за линией, в Рабочем поселке. Больше он в нашей жизни не возникал. Только еще пару дней мама не решалась даже близко подойти к нашей двери. Пока Фрима, захватив веник и пару больших тряпок, не толкнула решительно незапертую дверь.

– Зейст! – кричала она. – Смотрите! Как этот штинкенде шикер заср... л Дорину комнату!

Она еще долго галдела что-то о вонючих пропойцах – из того, что я мог понять. И правда, комната была черной от пыли и копоти. Штукатурка сыпалась со стен, печь дымилась из всех щелей. А я помнил, в какой чистоте держала мама комнату до войны. Как каждую весну белила ее, выставляла зимние рамы и до блеска вычищала стекла. Как раз в год переставляла мебель, пекла по этому случаю пирог в «чуде» и приглашала дворовых подруг: тетю Раю и тетю Лизу.

Слава богу, мебель была цела. И кровать с блестящими железными шишечками, и шкаф, и кожаный диван с полочкой для слоников, и даже сами слоники, пожелтевшие и потерявшие часть конечностей. Не было патефона и швейной машины, о которой мама долго грустила.

– Зейст! – сказала Фрима. – Глаза боятся, а руки делают! Они с мамой отодвинули мебель от стен и начали скре-

сти их. Меня заставили таскать всякий мусор на помойку. На следующий день Фрима ушла на работу, а мама принялась белить потолок. Он высох и стал как новенький. Потом мама побелила стены. И принялась за печку. Но тут дело не пошло. Мама мешала известь с песком и этой смесью замазывала щели. Получались лепешки, которые высыхали и отваливались. Но вдруг мама бросила свою работу и стала к чему-то прислушиваться.

– Лошадь! – закричала она. – Беги!

Я уже знал, что это значит. Надо было хватать веник и совок и лететь на улицу, по которой только что проехала лошадь с телегой. Почти всегда за ними оставались свежие, дымящиеся еще конские «яблоки». Важно было поспеть первым, потому что охотников было много. Мама добавляла лошадиный навоз в смесь, которой она обмазывала печку. Пахло, конечно, не очень, зато держалось крепко. А когда печка покрывалась побелкой, запах и вовсе пропадал.

Возилась мама неделю. Кряхтела да охала, но комната становилась все светлее и радостнее. На окно она повесила занавеску. Фрима тайком от тетки Рейзл притащила кое-какое белье. Мама отдраила оставшуюся после Паршина нашу посуду. И мы стали жить да поживать в своем доме.

Теперь мама могла искать работу. С ее зрением это было не так-то просто. Торговать в магазине она не хотела, да и не умела. Устраиваться на ткацкую фабрику, где работали наши соседки, опять же глаза не позволяли. И тут объяви-

лась тетья Итя с Первомайской улицы. У нее каким-то чудом оказалась вязальная машина. Она умела только одно – вязать бесконечный чулок из белых ниток, которые приволакивали работницы все той же ткацкой фабрики имени Петра Алексеева. Хорошая была фабрика. Кормила не одну нашу улицу. Скажу по секрету, у меня до сих пор валяется на даче свитер, связанный из шерсти имени Петра Алексеева. Не спрашивайте, как эта шерсть попала к нам. Но качество, скажу я вам! До сих пор носится!

Так вот. Тети Итин чулок тянулся на километры. Только был он весь из себя белый. А кто же носит белые чулки? Вот она и наняла маму красить их. Мама забирала у нее вышедший из вязальной машины километр и пакет с краской. И растапливала печь. На плиту ставился большой бак, сыпалась краска, и плюхался чулок. Он долго кипел в баке, мама иногда длинной палкой мешала это варево. Она поддевала чулок, почти целиком переворачивала его и снова опускала в воду. От кипящей воды поднимался пар чернильного цвета. От него слезились глаза, и напал неуправляемый чих.

– Терпите! – говорила мама. – Это наш кусок хлеба!

Открывать окно она не хотела. Не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей и донесет участковому. Участкового мама боялась пуще огня. Как увидит его, так скорее спрячется за деревья. Ей все казалось, что он обязательно идет за ней. Ведь вся фирма тети Ити была подпольной.

Крашенный чулок надо же было высушить. Вот мама и ве-

шала его на веревку, протянутую через комнату. И мы дышали этой чернильной сыростью, кашляли и чихали, пока чулок не высыхал. По вечерам заходили старушки – «божьи одуванчики», заталкивали сухое изделие в мешок. Где-то потом его разрезали на нужные куски и зашивали те места, где предполагались пальцы. Пятка растягивалась при ходьбе. В общем, тети Итина машина кормила целую артель.

Теперь у нас были деньги на то, чтобы выкупать хлеб. После прописки мама получила карточки: две детские, а на себя иждивенческую – она ведь числилась неработающей. По карточкам полагалось 400 грамм хлеба в день. Мы были прикреплены к ларьку на углу двух улиц: Горького и Пушкина. Занимать очередь надо было пораньше. В морозные дни люди топтались тесной кучей у прилавка, «месили тесто» на грязном снегу. «Едет!» – кричали ребятишки, дежурившие на подъеме к нашей улице. И в гору вползал синий хлебный фургон. Водитель открывал боковые дверцы, и грузчик таскал в ларек лотки с еще дымящимися буханками. От запаха горячего хлеба люди дурели, теснили передних, чтобы скорее оказаться у заветного окошка. Иногда кто-то из мужчин помогал грузчику. За это его отоваривали первым. Остальные торопливо доставали свои карточки.

А вот продавщица никуда не торопилась. У нее-то было тепло. Она внимательно отрезала нужный талон и с привычной точностью отмеряла требуемую часть буханки. Хлеб был тяжелым и на ощупь сыроватым. Люди говорили, что муки

там хорошо если половина. Но другого по карточкам не было. В коммерческом магазине по дорогой цене продавали пеклеванный. По виду он походил на белый, но по вкусу был каким-то кисловатым и горьковатым.

На нас троих выходило чуть больше половины буханки. Редко когда продавщица ошибалась, и тогда добавляла к отвешенной порции недостающий кусочек. Довесок. Это было счастье, потому что его можно было съесть по дороге домой. Что там флорентийское мясо, что там устрицы на берегу Ла-Манша! Самым вкусным в жизни был этот еще теплый кусочек сыроватого черного хлеба!

Комната наша позеленела от чулочных паров. Мама успокаивала:

– Конечно, чтоб вы так были здоровы, как эта краска сокращает нам жизнь! Но жить-то нам больше не на что... Вот если бы у меня была швейная машинка!..

До войны машинка у нас была. Шить мама, правда, не очень-то умела. Но сострогать что-нибудь для избалованных соседей она бы смогла. Так она думала. Во время войны машинка куда-то пропала. Так же как и патефон с пластинками. Ходили какие-то слухи про соседку тетю Ханну Кракову – ту самую, что заняла бывшую бабушкину квартиру. Но на нее много чего валили.

– Ах, была бы у меня машинка! – вздыхала мама. Но она не только вздыхала. Из заработанного у тети Ити мама стала откладывать какие-то рубли – копить на швейную машину.

Отложенное она прятала внутрь нашего раздвижного стола – так чтобы воры не нашли. Раз в несколько дней она доставала свою заначку и пересчитывала ее. Денег от этого не становилось больше.

И все-таки мама не теряла надежды. Конечно, в магазинах машинки не продавались. Но были люди, которым они достались от родителей. А кто-то из воевавших привез их из Германии. Швейные машинки были хорошим трофеем. Не хуже велосипеда или аккордеона.

Помню, как-то раз сидели мы на скамейке перед дверью соседки тети Тани Ивановой. Ее Юрка из-за чего ссорился с моим Мишкой. Маленький Буля как всегда шмурыгал сопливым носом. Вдруг, вижу я, спускается с горки военный с большим вещмешком за плечами и с черным чемоданом в руке.

– Юрка! Буля! – говорю я. – По-моему, ваш отец идет!

И точно, это был дядя Петя Иванов. Он был военным железнодорожником и поэтому смог привезти в своем вагоне трофей – немецкий аккордеон. Он потом иногда присаживался по вечерам на свою скамейку и терзал слух соседей расхлябанными всхлипами инструмента. Но никто ему и слова не говорил: человек в своем праве – вернулся живым с войны!

Но швейной машинки дядя Петя Иванов не привез. Зато он знал человека, у которого она была. Мама даже приценивалась к ней. Столько денег, конечно, у нее не было. Но мама

надеялась собрать. Она откладывала каждую копейку. Тратила только на отоваривание карточек.

Но тут случилась беда. Тетя Итя закрыла свою лавочку. Муж настоял. И мамины заработки кончились. Вот когда мы узнали, что такое настоящий голод. Спрятанную в столе «зачачку» она ни за что не хотела трогать.

– Проедем швейную машинку, тогда совсем не на что будет надеяться!..

Денег не было даже на то, чтобы выкупить наш хлебный паек. Приходилось день обходиться без хлеба. Зато потом я получал двойную порцию – целую буханку. Мама тут же несла ее на рынок. На вырученные деньги можно было продержаться целых два дня.

По вечерам, чтобы не видели соседи, мама рвала крапиву в нашем дворе. Рвала и плакала от стыда. А потом варила щи, которые я, несмотря на дикий голод, с трудом заставлял себя проглатывать. Потом я узнал, что в крапиве полно всяких витаминов и ее даже прописывают врачи. Но как вспомню вкус этих пустых щей без мяса и картошки, так ком подкатывает к горлу.

– Ешь! – говорила мама. – А то опухнешь!

А были дни, когда и крапивы не было.

– Мам! – канючили мы с братом. – Есть хочется! Дай что-нибудь!

– Нет у меня ничего! – плакала мама, глядя в темное окно.

Глава девятая

Делать уроки она посылала меня к бабушке. Там было тепло. Но меня быстро приспособили к пугавшей меня работе. После школы я отправлялся в Москву. Там, напротив Киевского вокзала в булочной работала грузчицей моя тетка Фри-ма. Я вызывал ее на улицу и передавал закрытую клеенчатую сумку.

– Погуляй! – совала она мне в руку теплую баранку. – Только не ешь на виду!

И правда, мальчик, жующий баранку, был в те времена диковиной. Но самое страшное начиналось потом. Тетка Фри-ма торопливо выскакивала из бокового входа, я хватал ставшую тяжелой сумку и воровато бежал к автобусной остановке. Я знал: в сумке хлеб или баранки. И то, и другое надо было довести до Кунцевского базара. Ух, как я дрожал всю дорогу! И потом, прячась за ларьками, пока бабка Злата не забирала у меня буханки одну за другой. Считалось, что такую старую, да еще мать погибшего героя милиция не тронет. Вот и бродила бабка в базарной толпе, увешанная баранками. Ну и добродилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.